

#_258

А. Воронский.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТКЛИКИ.

I.

Утверждают, что наша литература "воскресает из мертвых". В известном смысле это так. В связи с ликвидацией фронтов, с новой и "новейшей" экономической политикой книжный рынок уже успел в значительной мере заполниться всякими изданиями. В витринах "воскресение из мертвых литературы" демонстрируется десятками книжек и книжонок в хороших и часто изящных обложках: тут и стихи, и альманахи, и журналы "толстые", и серьезные "груды", и сборники рассказов; а на углах улиц - бойкие журнальчики, еженедельники, листки объявлений. Если не ошибаемся, зарегистрировано более 200 частных издательств, из которых около 70 так или иначе функционируют.

Заметное оживление наблюдается и в советской печати. Государственное Издательство выпустило за последние месяцы серию ценных книг и - что не менее отрадно - внешний вид московских изданий сделался несравненно лучше. Возникает "толстая" советская журналистика: есть "Печать и Революция", "Книга и Революция", "Пролетарская Революция", "Красная Летопись", "Красная Новь", "Военная наука и революция", "Красный Архив", "Культура и Жизнь", "Под знаменем марксизма" и т. д. Еще больше намечено журналов к изданию, находящихся в наборе: "Новый Мир", журнал молодежи, студенческий журнал.

В наблюдаемом литературном оживлении многое уже выкристаллизовалось, приобрело законченность, во всяком случае достаточную ясность.

Прежде всего ясно, что образуется два основных литературных лагеря. Фронтов пока нет, но борьба переместилась и ведется в другой сфере: критика оружием сменилась оружием критики. Советская печать - один лагерь. Группа частных издательств - конечно, не все - другой. Меж ними уже началась борьба и она с каждым днем обостряется. Нам придется пережить полосу сильнейших идейных штурмов, состязаний, и здесь, как и всюду, будут побежденные и победители. Советская власть победила в гражданской войне, но победа оказалась не полной - нет на-лицо победоносной мировой революции; победа досталась ценой разрухи, жесточайшего голода, "новейшей" экономической политики, всеобщей усталости, распыления пролетарских сил. Прежние враги республики Советов не сложили оружия. За их спиной стоит буржуазный Запад, на них работает голод и всяческие

#_259

кризисы внутри страны; простор, предоставленный мелко-буржуазной стихии, они пытаются использовать для организации ее, стихии, под своими старыми, потрепанными знаменами.

Сама эта стихия пока идеологически беспомощна. Герой нашего времени поглощен быстрейшим оборотом советских денег, падающих с быстротой катастрофической; в часы же досуга вместо стихов Ахматовой, исследований Жирмунского, публицистики Изгоева он покупает "Экран", "Запад", "Петербург", но, и заручившись ими, "прет" все-таки в притоны, кабаки, театришки, вместе с отбросами коммунизма. Паладин и мученик советского рубля насквозь актуален. Он усиленно скупает у голодных вещи и все, что попадается, он спешит быстро "обернуться", он переживает медовый месяц "свобод" и пока он аполитичен. Советская власть, коммунисты... это потом; ежели повезет, нужно будет с ними посчитаться; пока не до этого; на очереди найти "верного человечка" - "есть у меня один такой", - найти "руку", обделать при помощи этой "руки" "верное дело". Что сверх того, - то от лукавого. И поелику верных человечков не мало, то дела обделываются в лучшем виде.

Новый "чумазый" находится еще пока в состоянии политической невинности, по крайней мере, в смысле положительной программы, бульварные же листочки и журнальчики он хотя и покупает иногда, но не всегда разворачивает: во 1-х, ведутся они с бесталанностью удручающей, а во-2-х, героя наших дней можно пронять чем-нибудь сверхнеобычайным. Кожа у него толстая, нервы - канатищи; за время войны и революции он на все насмотрелся, все видал и не народился еще тот литературный гений бульвара, который бы сумел расшевелить его. Кроме того боятся советов. Поэтому уличная литература робко и стыдливо прячется в "театральные обозрения", в "хронику" Запада, в листки объявлений, да еще на страницах советской ежедневной прессы бог знает как проскользнувший ужем оборотистый и вертлявый "товарищ" из биржевки нет-нет да и выглянет со своей посильной лептой.

Она идет - эта пресса и литература углов, киосков - более бесцеремонная, бесшабашная, наглая и беспардонная, чем ее дореволюционная сестра, и эта уличная проститутка сумеет растлить многих из молодежи, если наша советская политпросветительная работа будет почивать на лаврах и путаться в инструкциях, резолюциях, входящих и исходящих, как это часто бывает с ней теперь.

Идеологически оформившейся является литература другого лагеря. Литература тех частных издательств, куда нельзя идти с рукописью, в которой есть несколько "добрых слов" о большевиках и об октябре. Участь таких рукописей там заранее предопределена, при чем наш политотдел является сущим наивным несмышленищем по сравнению с той идейной выдержкой, коей обладают литературные церберы и охранители литературных врат, ведущих в этот лагерь.

Этот лагерь... Когда встречаешь знакомого, получившего редкую возможность иметь книгу, выпущенную русскими белогвардейцами за рубежом, и довольного по сему поводу, невольно думаешь: "подумаешь, какое счастье нашел, да у нас, у самих, этого добра

немало, нужно только поискать в литературе дней наших, святая простота". Факт тот, что русская эмиграция, духовно растленная и поверженная физически, начинает просачиваться и к нам. "Там" делать нечего, здесь она ищет "живой жизни". Задыхаясь от безделья в душной атмосфере

#_260

эмигрантских пустычков, она вползает сюда, ища приюта и уголка. И такие приюты и уголки у нас есть. И нужно сказать, в этих приютах и уголках подчас сидят люди куда умней и опытней, чем рыцари печального образа из "Руля" и "Общего Дела". И если нам говорят из глубины сих уголков, что претензия зарубежных говорить от имени интеллигенции России неосновательна, то это - святая правда. Верно, что "публицистическая мысль России (какой - увидим ниже. А. В.) безмерно обогатилась огромным социально-политическим опытом революционной эпохи". С точки зрения такого опыта поведение, например, "Общего Дела", ошалевшего до последних мыслимых пределов, нужно признать по меньшей мере бестактным. Отсюда некая разноголосица: Александр Яблоновский отчитывает кое-кого из оставшихся внутри Сов. России, а эти тоже не остаются в долгу. Разнобой, однако, ничуть не мешает последним считать тех же сотрудников "Общего Дела" братьями-писателями (еще бы - Амфитеатров-то там, в этом "Деле" - и как пописывает!), а для представителей "новой России" подыскивать сдержанно-елейно-ехидные замечаньица, словесные заковыки, "пускать" рецензии, которые нужно понимать "духовно, тройко и иносказательно". И уж, конечно, братья-писатели из "Общего Дела" в тысячу раз духовно ближе, чем какой-нибудь честный краском или коммунист, грудью отстаивавший эту "новую Россию" от граждан Бурцевых, Амфитеатровых и тутти кванти. Ибо никто не докажет, что существует значительная разница между г. Изгоевым и Булгаковым, или что идеологически Бердяев и Франк далеко ушли от Мережковского.

По силе сказанного не будет большого преувеличения сказать, что "воскресение из мертвых" литературы, поскольку "воскресают" Бердяев, Изгоев, Франк, есть воистину "воскресение" тех, кто был основательно завален в могильной пещере камнями октябрьского обвала и кто уже смердел четыре дня. При таком воскресении мы отчасти и присутствуем. Но, как андреевские мертвецы, наши отечественные мертвецы пережили в могиле холод тлена, безмолвие конца, одиночество склепа и выходят из гробов с пустыми, мертвыми, незрячими глазами, без животворящей силы жизни. Для них мир - могила и гроб; в нем нет красок, на него легла тень смерти. В склепе познали они истину смерти и небытия. Они смотрят на мир глазами трупа - и вот приходят к живым и им, как высшую правду, как венценосную ценность ценностей, они сообщают эту правду смердевших.

Подлинно живых, полных таинственных сил жизни они не увлекут своей правдой, но есть такие, кто в жесткие дни нашего века

оказались тяжело ранеными, больными, доведенными до страшного духовного истощения и изнеможенности, и для них правда живых трупов может явиться большим соблазном и препятствием к выздоровлению. Она вредна для них.

II.

О правде живых трупов мы сейчас и поведем речь. Но прежде всего немного о больных и раненых.

В "Вестнике Литературы" N 1 от 1922 г. К. Боженко пишет:

"Слава Богу, у нас нет больше никакого долга перед народом"...

Так заявил на одной дискуссии о сборнике "Смена Вех" один убеленный сединами писатель... К сожалению, мысль о том, что отныне интеллигенция

#_261

больше ничего не должна народу, что мол "чорт с ним, с народом, - пусть дальше живет как знает, но только без нас", в последнее время приходится слышать все чаще и чаще, и не только из уст рядового обывателя. Особенно печально то, что такие заявления исходят от литераторов, от людей, претендующих на то, чтобы их считали "солью земли". И говорят об этом совершенно серьезно, - без всякой иронии, без злорадства или торжества, так, как говорят, например, о самых повседневных мало волнующих вещах"...

К. Боженко - человек, повидимому, осведомленный по части интеллигентских настроений, и слова его правильны. Все течет, все изменяется. Не так еще давно в интеллигентских кругах, близких к "Вестнику Литературы" по духу и всему жизненному укладу, кипела ярая ненависть к народу - хам, охлос, чернь, рабы, стадо и пр., - теперь это уже - превзойденная ступень. Нет ни ярости, ни скрежета зубного; вопли о черни и хамстве сменились равнодушно-нигилистическим: "чорт с ним, с народом". Он сам по себе, мы сами по себе. Отечество, русские незапамятные равнины, хмурый север, народ, давший Толстого, Достоевского, Желябова, Ленина, - чорт с ними, со всеми. Времена не те. Ушло оно, доброе, старое время, с комфортом, уютом, журналами, добродетельно демократическими разговорчиками и спорами. "А как ели, а как пили - и какие были либералы!" Все в прошлом. Были дни борьбы - разбиты этими, как их, - хамами. Были дни глумления, ненависти, - прошло и это. Ни торжества, ни злорадства. Равнодушие, безразличие, сознательный эгоизм, возведение обывательщины в догмат, в принцип, в кредо.

Тут нужна основательная борьба. Соратники "Вестника Литературы" как-будто уверены, что они ее ведут. Тому же самому Боженко "лозунг": "чорт с ним, с народом" - очень не нравится. Ему хочется думать, что добровольного политического самоубийства интеллигенция не сделает. Он за старые заветы. И посему пишет: "Отступить от этой традиции, это значит не только сменить вехи, к чему зовут зарубежные публицисты, а много хуже: - совсем срубить

всякие вехи".

Недоумение охватывает при чтении этих строк. Зарубежные публицисты - смено-вехисты - стараются примирить дореволюционную интеллигенцию с Советской властью, пробудить в интеллигенции активность, дать ей положительное политическое *credo*, преодолеть новейший нигилизм и эгоизм обывателя, а Боженко утверждает - это худо: сменять вехи, а еще хуже - срубить всякие вехи. Очень странно. Тут чем-то начинает "пахнуть" специфическим и как будто знакомым.

Недоумение разрешается, впрочем, довольно скоро г. Изгоевым. Гражданин Боженко ходит вокруг да около. Изгоев "берет быка за рога". В статье "Личность и власть" в том же N 1 "Вестника" он так отвечает на вопрос "что делать" интеллигенции вообще и как следует разрешать проблему отношения интеллигенции к власти в частности.

"Интеллигенция, - поучает он, - должна быть независима от власти, в духовном и моральном отношении... Возродиться, почерпнуть новые духовные силы интеллигенция сможет только из источников духовных. Не от того или иного отношения к власти, а от силы духа интеллигенции зависит будущая ее роль в русской жизни". Тут же в пояснение своих мыслей Изгоев говорит о "безусловных, абсолютных, религиозных критериях", коими следует руководствоваться. Основной грех интеллигенции прежних лет до революции заключался в том, что она была слишком "политична", почему превращалась в "анти-правительство".

#_262

Смысл проповеди Изгоева станет совсем ясным, если отметить, по какому поводу все это написано. По поводу споров вокруг "Смены Вех". В таком контексте изгоевские писания приобретают особый, довольно прозрачный смысл. "Смена Вех" зовет интеллигенцию к активной поддержке Советской власти. Изгоев отвечает: не в том дело, поддерживать Сов. власть не нужно. Следует проникнуться религиозным сознанием, уверовать в абсолют. В этом закон и пророки и смысл философии всей. Предупредительно Изгоев поясняет, что сотрудничать с Сов. властью не следует не только в сфере политики, но и в области экономики, ибо и здесь "неизбежно возникнут те или другие отношения к власти". Святым духом, надо полагать, интеллигенция существовать все-таки не будет, ибо абсолют обладает одним досадным свойством: он много обещает на небе, но по грехам нашим считает излишним вслушиваться в скучные песни земли. Требуется поэтому предположить, что какой-то "экономический базис" должен существовать для интеллигенции. Нельзя же предположить, что она будет заниматься по рецепту Изгоева только формированием независимого общественного мнения. Раз нельзя сотрудничать с Сов. властью ни в политике, ни в экономике, остается предположить, что интеллигенции остается один путь: пойти сотрудничать с новым чумазым, с гражданином Нэпманом. Предположение это подкрепляется тем обстоятельством, что Изгоев в

своей статье указывает, как на пример, достойный подражания, на западно-европейскую интеллигенцию, которая не в пример нашей отечественной, анти-правительственными делами не занимается, а формирует драгоценное "независимое общественное мнение".

Итак, сотрудничество с новым "чумазым", а не с Советской властью, потусторонний мир, а не низменная сфера политики.

В новом старое нам слышится. Было это. Революция 1905 года временно оказалась разбитой, и интеллигенция по всей линии совершала переоценку старых "заветов". Звучали речи и немало было написано статей о грядущем хае, взасос зачитывались "Саниным", появились какие-то подозрительные тихие мальчишки и зловеще пронесся "Конь бледный". Когда почва оказалась достаточно подготовленной, раздался вещий голос вехистов, смысл их проповеди сводился к тому, чтобы убедить читателя в пагубности увлечения социализмом, революцией и политикой: вехисты убеждали бросить сии пагубные увлечения, отказаться от безбожия и поверить в абсолют. На-ряду с этим проповедался эгоцентризм, индивидуализм и предлагали также лучше капусту сажать, чем книжки читать, особенно от Маркса и Энгельса - от нее все качества. Проповедь новых пророков многим пришлась по вкусу. Безбожие, социализм и революция были объявлены грехами молодости, - о подполье и митингах говорили с кривыми улыбочками, а русских революционеров совсем развенчали: и дураки-то они, и люди-то безнравственные, и личную-то жизнь чорт знает на что тратят, и догматики-то, и буквоеды, и кружковщина их заела и т. д. За сим все это как-то очень уж удачно сочеталось и с мечтами о Дарданеллах и с войной до победнейшего конца. На-ряду с хлопотами об абсолюте не забывали разжигать самый дешевенький ура-патриотизм, а войну изобразили как великую освободительницу угнетенных народов и пр.

Так что путь, по которому Изгоев предлагает идти интеллигенции, был уже испробован. По признанию Изгоева, интеллигенция подверглась разгрому. И - заметьте - в первую голову разгром коснулся интеллигенции не безбожной, не какой-нибудь марксистской, а "настоящей"

#_263

изгоевской, струвеанской, божественной, покончившей со всякими социалистическими бреднями. По какому же праву гражданин Изгоев вылезает вновь в роли пророка и вещает нечто, что уже было испробовано и привело к краху? И не правдоподобнее ли будет сказать, что интеллигенцию разгромили именно за вехизм, за уход от революции и от социализма, за отвращение к "классовой терминологии", именно тогда, когда эта "терминология" как раз нужнее нужного была?

Может быть интеллигенция плохо внимала вехистам? Нет, успехи Изгоева и Бердяева несомненны: они сумели "в свою веру" обратить весьма широкие круги интеллигенции. А в годы войны положительно пожинали богатейшую жатву. И даже социалисты поступали по писаниям Изгоева. В бога, правда, они тогда еще не уверовали - до

этого только теперь многие из них доходят, - но в оборонцев и патриотов превратилось огромное большинство из них.

В чем же дело?

Дело в том, что вновь запахло мертвечинкой в связи с усталостью, голодом, с задержкой мировой революции, с уступками мелкой буржуазии. И вот опять выступает Изгоев и вытаскивает старый хлам. Смысл его проповеди ясен: против сменовеховцев за старые "вехи". Не беда, что старые "вехи" завели в болота и топи. Есть все-таки надежда, что будет же, наконец, и "на нашей улице праздник", - может быть, вытянет "чумазый", на него - главная ставка. Но новый чумазый - человек в сущности чужой всей прежней буржуазнопомещичьей культуры. Не та складка, не те повадки, ухватки и приемы. Да и выведет ли он из болот и топей - еще неизвестно. Западная культура на явном ущербе, а Советская власть продолжает оставаться фактом. Поэтому разложившиеся духовно и политически старые силы ничего не находят лучшего, как возвести очи горе и засветить лампадку. К тому же единственное, что можно противопоставить современному коммунизму, это - вера в абсолют.

Разумеется, далеко не вся интеллигенция приемлет эту дилемму; есть такие, которые давно наплевали на всякие идеологии и уверовали твердо и незыблемо лишь в одно: рви зубами, руками и чем попало. Есть еще много разновидностей, но в конечном итоге остаются два лагеря, к которым тяготеют все промежуточники: с коммунистами, с советами к деловой работе; против коммунистов, против Сов. власти к религиозному мракобесию. Вот, например, Питирим Сорокин, когда-то, если память не изменяет нам, публично каявшийся в своих анти-советских грехах. Теперь он с этим покончил. Видите ли: большевики обманывают простоватых русских читателей. Даже Бердяева и Франка они обманули и заставили их говорить о "Закате Европы", когда никакого "заката" нет; какие хитрые, а Бердяев и Франк - доверчивые! На Западе ничего "такого" нет. Научная мысль Запада работает сейчас более интенсивно, чем когда бы то ни было. Экономический кризис изживается. Работа налаживается. Духовная жизнь уравнивается ("Вестник Литературы" № 2 - 3 - "Начало великой ревизии"). В противовес Бердяеву Сорокин полагает, что науку нельзя считать виновницей кризиса Запада; однако "глубокое познание вполне совместимо с таким религиозным отношением к жизни, которое пламенно проповедывал хотя бы Карлейль. Посему он - Сорокин - приветствует ту "ревизию", которую начали Бердяев, Франк и Изгоев, а поднятые сменовеховцами вопросы - за или против Советской власти - кажутся ему "малюсенькими вопросиками". В итоге П. Сорокин обеими ногами стоит в лагере Бердяева.

#_264

Струя религиозно-мистическая сильна и в литературно-художественной жизни части интеллигенции, при чем подобные настроения идут рука об руку чаще всего с отрицательной оценкой советской действительности. В этом отношении такие

юбилей, как юбилей Достоевского, являются подлинным кладом. И если Айхенвальд писал в том же "Вестнике", что "нам, гражданам социалистического отечества, с Достоевским не по пути, что нашей республике не подобает славить годовщину его рождения и что необходимо сделать выбор между Достоевским и ею, республикой этой", - то он выразил только общую тенденцию родственных ему кругов: использовать юбилей для того, чтобы "лягнуть" "республику эту".

Из Достоевского вообще пытаются сделать политическое знамя. Достоевский предвидел "бесов", Достоевский видел спасение России в религии, Достоевский верил, что Россия скажет новое религиозное слово всему миру и т. д. Беды нет, что Достоевский в сущности был атеистом, жаждавшим веры, но не имевшим ее, - что провозглашать пророком, написавшего "Исповедь Ставрогина" - по меньшей мере неуместно и неумно. Верно, однако, то, что, являясь ярким выразителем разложения, Достоевский во многих отношениях импонирует теперь группам и слоям, сметенным с исторической сцены*1.

Точно так же смерть Блока эти господа пытаются и пытались использовать по своему, по заумному. С каким рвением и тщанием принялись доказывать, что Блок никогда ни на иоту не принимал октября, что чистейшее недоразумение считать его "Двенадцать" произведением, где он по-своему благословил и принял революцию! На мертвого валить все можно. Люди, "за революционность" не подававшие в свое время руки Блоку, теперь усиленно хлопочут вокруг его могилы, жонглируют его именем, обсасывают его, стараясь превратить Блока в белогвардейца и мистика из "Общего Дела". И хотя Блок об этих господах писал, что они "визгливо лают как мелкие шавки из-за забора и что нелепо считать русскую революцию "скверным анекдотом", это отнюдь не мешает людям, травившим его три года, превращать Блока в своего знаменосца, а большевиков винить в его преждевременной смерти. Многие из редких и ценных людей погибли зря в эти годы и, разумеется, Советская власть отвечает здесь за свое неумение во-время прийти на помощь им. Но, прежде всего, ответьте вы сами, кричащие, что Блока "уморили большевики": в какой степени виновны те, кто три с половиной года поносил Блока на всех перекрестках, кто старался загрязнить, втоптать в грязь его имя за то, что он не объявил русскую революцию "скверным анекдотом", а впереди двенадцати красноармейцев, которые "поласкали ножичком", увидел Христа с кровавым флагом! Вот об этом усиленно молчат многие питерские и московские литераторы.

Нужно отметить, что во всех этих компаниях ничего кроме политического озорства нет. Бессильные, вышвырнутые за борт жизни людишки способны только на подсиживание, поддразнивание, брюзжание. Сегодня они треплот имя Достоевского, завтра Блока, на третий день они стремятся гаденько лягнуть какого-нибудь из "братьев-писателей", оказавшихся в советских рядах. В том же самом "Вестнике

*1 Л. Карсавин недавно объявил, что Федор Карамазов был идеологом самой чистой любви (См. его статью в № 1 журнала "Начало"). Остается пожалеть, что автору была еще неизвестна "Исповедь Ставрогина". К Федору Карамазову он по праву мог бы присоединить и Ставрогина, изнасиловавшего ребенка.

#_265

Литературы", где Изгоев так убедительно увещевает интеллигенцию уверовать в абсолютизм, некий Борис Аннибал сводит счеты с Валерием Брюсовым, сообщая, что "Брюсов - большой любитель щекотать под мышками у дам с разбежавшимися грудями и пышными ляжками", к чему скромно приписывает: "это никак уж не рекомендует Брюсова с хорошей стороны ни как человека, ни как поэта". Все это тоже называется "воскресением из мертвых литературы" и "литературным оживлением" и печатается в литературном вестнике!..

...Создаются эстетические теории, ставящие художественному слову задачу находить "в обрывках слов туманный ход иных миров". В этом отношении очень характерна в петербургском сборнике о Блоке статья Бор. Энгельгардта "В пути погибший". Указав на весь яд, который таится в "нигилистическом созерцании", Энгельгардт дальше уверяет, что поэзия первая "подняла" знамя восстания против "мира Базарова" с его мертвым сухим материализмом. И вот перед поэзией возникла новая задача, которой она не знала раньше:

"преобразование содержания созерцаний в значении слов стало означать для нее восстановление религиозной сущности являющегося в воззрении". По этой схеме Энгельгардт и обрабатывает Блока; выходит хорошо: Блок очень много потрудился над преодолением материализма и укрепления "нового религиозного сознания"; жаль - не закончил. За него доканчивает теперь г. Энгельгардт.

Так, перед поэзией ставится тенденциознейшая задача; отныне она должна служить абсолюту.

III.

Переходя к художественному слову наших дней, мы должны прежде всего отметить крайнюю скудость и бедность современной литературной жизни. Со стихами еще так-сяк, но с прозой, с рассказами, повестями, романами дело обстоит до крайности плохо. То немногое, что вышло из печати за последние месяцы, только подтверждает сказанное. Еще не так давно, примерно прошлой зимой, ходили слухи, что у беллетристов накопилась гора рукописей, что писатели ждут не дождутся, когда они смогут предстать перед читателем со своими "вещами". Все это оказалось сплошным вздором. Никаких рукописей не накопилось и, когда наступил момент показать товар лицом, вышли тощие книжечки с малюсенькими рассказиками, достоинство художественное которых весьма невелико. Так же слабо и в журналах.

Сказались в этом тяжкие материальные условия, в которых жил писатель в последние годы. Но суть не в этом. Русскому писателю

не привыкать стать писать в холодных чердаках и подвалах. На художественной прозе отразился прежде всего революционный кризис. Крах интеллигенции сделался и крахом литературы. Уже накануне революции отход основного русла художественной литературы от революции был совершившимся фактом. Достаточно вспомнить, как во время войны почти сплошь наши отечественные художники слова взяли высокопатриотические ноты и на все лады звали взять чуть ли не в три дня "заносчивый Берлин", а более прыткие и пылкие мечтали о кресте на св. Софии и о целом полмире. К этому русская литература была подготовлена всем предыдущим ходом своего развития. Не удивительно, что такое художество, покончившее с революционным подпольем, социализмом и лучшими демократическими заветами, должно было вступить в полосу полного разложения в годы октябрьской революции.

#_266

Крайний индивидуализм, самодовлеющий эстетизм и пр. никак не в состоянии были ужиться с революцией, выдвинувшей на арену истории рабочего, солдата, крестьянина. Рухнул старый быт, а с ним и только с ним был связан старый писатель-интеллигент. Жестокая гражданская война отбросила его в лагерь реакции, он потерял связь с новой современностью, принял ее за "скверный анекдот", за нелепость и шалость истории. Кроме этого, вообще годы революции, когда действуют армии, коллективы, классы, когда с "человеком тихо", очень неблагоприятны для художественного слова, где прежде всего индивид, личное, свое. Бумажные и прочие кризисы только усугубляли это параличное состояние русской литературы. Что дело заключалось не в так называемых внешних обстоятельствах, видно из того, что русская эмиграция, не ведавшая ни типографских, ни бумажных кризисов, пользовавшаяся всеми "свободами" благоустроенных буржуазных государств, не дала за эти годы ничего заметного и выдающегося. А ведь за рубежом собрались сливки старой литературы: Бунин, Куприн, Мережковский, Ал. Толстой, Гиппиус, Чириков, Сургучев и т. д. И если в настоящее время мы замечаем некоторое оживление в литературном мире, то не следует забывать, что это оживление, во-первых, в значительной мере только внешнее - в витринах появляются книжки в хороших обложках, но весьма безотрадны по своей художественной ценности, - а во-вторых, оживление это совпадает с новой фазой русской революции, характеризуемой прежде всего ликвидацией гражданской войны.

Каковы же ближайшие перспективы художественного слова? Оговоримся заранее: мы будем иметь в виду главным образом художественную прозу, ибо она именно по многим причинам представляет сейчас наибольший интерес для публициста.

Прежде всего о "стариках".

Дадут ли они что-нибудь ценное в будущем? Или, быть может, так и останутся в состоянии бездейственности и импотенции? Думается, что многие погибли для нашего времени совсем и окончательно. Одни

пережили период полного душевного разгрома и стали внутренне пусты и мертвы. Другие оказались столь крепко связанными со старым бытом и укладом, что им не под силу приспособиться к новому и переработать художественно это новое, рожденное революционной эпохой. Многие так и останутся "мелкими шавками, лающими из-за забора", и будут продолжать разносить "самые грязные сплетни и небылицы", по прежнему от них будут нестись "жалобы, вздохи и подвизгивания" - выражения А. Блока о русской эмиграции. Ждать от них чего-нибудь положительного бесполезно. Другая часть "стариков" несомненно со временем приспособится к новым условиям жизни. Их голос будет слышен, они еще скажут свое слово. Во всяком случае ставить крест над "стариками" огулом, сплошь, неправильно и неразумно. Было бы крайне печально, если бы это пришлось сделать. Это означало бы, что в новой жизни не оказалось бы никакой культурной преемственности, и новому писателю пришлось бы действовать без помощи умудренных "людей опыта". Обычно так не бывает и, очевидно, не будет. Среди известной части "стариков" все больше укореняется взгляд, что русская революция и новый быт не есть нечто случайное, наносное, а действительно глубокое, органическое и знаменательное явление огромной важности. Отсюда - путь к изучению нового быта и к его серьезному отображению.

Есть, однако, много подводных камней на этом пути. В том литературном

#_267

оживлении, которое наметилось за последние месяцы, очень сильно дает знать мистицизм и всякие заумные настроения. Теория, ставящая своей задачей находить "в обрывках слов туманный ход иных миров", повидимому найдет немало последователей. Для примера укажем хотя бы на альманах "Пересвет". Он проникнут этими "заумными" настроениями, религиозной созерцательностью, стремлением найти выход из противоречий действительности в потустороннем мире, когда кажется, что "людей нет, а есть Бог, вечность, природа, медленно, беззвучно протекающие". "Жизнь - как она есть - долой".

Но легко это сказать, и безмерно труднее сделать: непокорная жизнь не дает себя связать и примирения как будто не получается. Есть только видимость примирения жесткой действительности с далеким богом и туманной вечностью.

"Я войду и в другую комнату, увижу там кровать, икону Божьей Матери в ризе серебряной на столе, убранную имморталями. И с ней рядом из трех фотографий взглянет на меня лицо молодое и бодрое. Взгляд острый, почти задорный. И нож быстро ополоснет сердце и не отразит ножа, не отразит! А вот и девушка, ему близкая, тоже ушедшая. Вот его друг, лицо полудетское, - мученики времени, жертвоприношения сердец наших и удары Рока.

Вспоминая кровь, должен сдержаться. Это трудно.

- Любите врагов ваших, благословляйте проклиняющих вас...

Много здесь выжито, много здесь перемучено. Но это - жизнь!

На столе Богородица в ризе серебряной. О ты, прибежище всех матерей истерзанных! "Благодатная Мария, Господь с тобой" ("Пересвет" № 1, Борис Зайцев "Душа").

"Не отразить ножа, не отразить" и "любите врагов ваших", - а разрешение в бессильном восклицании: "О ты, прибежище всех матерей истерзанных!.." Бессильная бескрылая вера, бескровная мистика, она никогда не двинет горами. Тут больше эстетизма, чем веры. Что-то унылое, нежизненное, недейственное. Реально другое: не отразить ножа. Это - правда, это - живое, личное, глубоко пережитое. Но ведь это правда не настоящая, полправды и потому не правда, ибо с большим правом мы, против кого должен сдерживаться автор, можем рассказать о портретах, которые висят в наших комнатах. И тут тоже лица молодые и взгляды задорные, и они тоже ушли и тоже вспоминается кровь. Об этой правде сердце автора молчит. В немощных, далеких, не здешних тонах написан и другой рассказ Б. Зайцева "Карл V" в сборнике II "Северные дни". Карл заносит в дневник:

"Несу лавину дней. Дни - как тяжелый путь, в порфире, облачениях, грехе, ненужности. Но такова воля, таков путь. Господи, освободи меня. Боже милостивый, прими!" И так же бессильно молитвенное настроение изменить непокорную жизнь, ибо в тот же вечер Карл V "принял депутацию купцов Севильи, попытавшихся, но тщетно, оправдаться в деле с галионами". Мертвенный пепел лежит на этих рассказах, и самые строки как-будто теряют свою краску, сереют, и образы расплываются в чем-то, не имеющем ясных и живых очертаний. Как сны - всегда без солнца, легко забываемые. И сердце не захватывается, никакого ясного отпечатка не оставляют строки, от которых веет холодком, унылыми буднями. Нет движения, солнца, нет жизни, живого, а нет, следовательно, и самого главного, как бы мастерски ни были подобраны слова друг к другу. Оттого крепнет убеждение, что все это сделано, а не идет изнутри.

Мистикой попытался испортить свой интересный рассказ А. Яковлев

#_268

"Терновый венец". Тема бытовая - голод в Поволжье. Ряд хорошо и правдиво написанных чисто бытовых картин, жутких и мрачных. Зачем понадобилось автору в эти картины вплести странный образ Белой Девы и еще более странного светлого мальчика в терновом венце, - непонятно.

С этим внесением религиозного элемента и веры в потустороннее придется встречаться и впредь и в стихах и художественной прозе. Первые шаги в этом направлении показывают анемичность и мертвенность этих настроений. Такая вера никаких миров не спасет, но вред от нее очень ощутимый в художественном слове: лишенная плоти и крови, она, вера эта, будет способствовать появлению произведений, лишенных главного - жизни. И чем скорее будет покончено с этой немощной гостьей, тем скорее русское слово

выберется на широкую, светлую, торную дорогу. Тут здоровое и молодое, идущее от новой жизни, задерживается мертвым прошлым, так как вся эта литературная мистика - продукт разложения групп и слоев, обреченных историей. Им больше податься некуда.

Другое, на что следует обратить внимание в нашем "литературном оживлении", это на наличность обывательщины и на возведение ее в своеобразный принцип. Эту черту хорошо выявил Андрей Белый в "Записках мечтателей" № 5 в статье "Так говорит правда".

"Отвращает меня, - пишет он, - всякий привкус партийности, действующей сознательно, на "благо других"; здесь маленький действует под прикрытием великого "лозунга", т.-е. под гипсовым бюстом какого-нибудь из "великих", тут "маленький", размноженный несчетно, бьет жизнь томагавком, имеющим изображение великого...

"Великое" - принципиально, зло, лживо, жестоко и подло; все великое нажимает своей носорожьей стопой...

"...Да, я - обыватель; я не желаю пресечь обывателя в своем духе...

"Из двух зол: быть маленькою живою лягушкою, или дохлой лягушкой, разорванной ложным порывом к великому, предпочитаю остаться лягушкой живою, и становлюсь обывателем"...

Далее А. Белый развенчивает великие принципы во имя "живой лягушки". Религиозно-общественную проблему он не приемлет, ибо она - "дух пьяного кабацкого перегара из уст семинариста".

Социальный вопрос и Маркс хотя и занимали Белого, и он, по его признанию, даже чуть не попал когда-то в марксисты, "но "банком" мне веет от их борьбы с банками". Наука - "насквозь ложь". Ее истины "скачут, играя друг с другом в игру", и наука "разряжается... пушкой". Искусство не убеждает. Итог:

"несказанной, огромной любви недостаточно; недостаточно любви к человечеству, к нации, к классу; все это - перепрыги; начало любви к человечеству в любви, жалости во имя рек, к одному, к единственному, к обывателю, к малому"...

Вопрос о маленьком человеке и великих принципах - вопрос древний. Марксистской школой эта антиномия разрешается в том смысле, что марксизм стремится великие принципы связать с обычными, повседневными, практическими интересами сегодняшнего дня наиболее передового и жизнеспособного класса. Таким путем перекидывается мост от великого к малому человеку, к обывателю... Заслуга Маркса и научного социализма в том и заключается, что отвлеченный утопический доколе идеал социализма он соединил с рабочим движением, с практикой, с повседневными нуждами рабочего люда. Именно поэтому создалось современное величайшее социальное движение. Великие принципы без "обывателя" превращаются в сухие догматы, в

#_269

пустые мечтания, либо в тиранов; с другой стороны, практика, "живая жизнь" без великих принципов превращается в простое делячество. По-своему это сочетание в революционном марксизме

идеала с практикой признает и Андрей Белый, когда пишет о марксистах, что у них и великие принципы и дельцы они не плохие. Вот именно. Почему это так, этого А. Белый не понимает, ибо само существо, душа марксизма, ему чуждо.

Но нас интересует сейчас больше другое. Желание А. Белого - хочу быть живой лягушкой и только - надо признать характерным для литературных настроений наших дней. Гершензон жаждет сбросить с себя как тяжкие вериги все умственные богатства постижений, знаний и ценностей. Написано и напечатано немало рассказов на эту тему. В том же № 5 "Записок мечтателей" имеется рассказ Е. Замятина "Пещера", в котором автор повествует, как интеллигентная семья живет зимой в холодной и запущенной квартире, а обитатель ее Мартин Мартинович крадет дрова у своего соседа. Сам по себе - тут быт, но освещение рассказа, фон, настроение - сплошная обывательщина.

В провозглашении обывательщины, как принципа, сказывается усталость и отлив революционной волны. Тут реакция против недавнего прошлого, когда человеческая личность исчезала, делалась маленькой пылинкой в вихре событий. Война, революция, гражданская война. В грандиозных событиях действуют массы, армии, классы, с отдельным человеком не считаются. Человек превращается в абстракцию, в безличную частичку нации, армии, класса. Проходят, минуют катастрофические месяцы и годы, или наступает заминка в борьбе - и тогда неизбежно рождается реакция. И у победителей и у побежденных тухнет взаимная жестокая ненависть, звериная, не знающая пощады, борьба принимает более "культурные" формы. Человека хотят восстановить в его личных правах. "Маленький" человек заявляет о себе, о своем, обыденном. И такая реакция может стать законной и полезной. Она приводит к большому уважению "прав человека", индивида с его личными радостями и горем, жестокие формы борьбы смягчаются, часть их делается ненужной. В известной подобной реакции мы несомненно будем нуждаться. Война 1914 года, потом революция, несомненно, сопровождалась у нас большим огрубением нравов и, как закон, с человеческим индивидом считались мало. Но эта реакция в данном случае для класса-победителя - рабочего класса - будет законна и плодотворна при условии, если, во-первых, новая созданная революцией жизнь войдет в нормальное спокойное русло и классовый враг окажется повержен окончательно и бесповоротно, и во-вторых, если с водой не выплескивают из ванны ребенка, т.-е. не происходит измены тому основному идеалу, за который боролись, - когда не принижают его, не развенчивают, не совершают ренегатских поступков.

Сейчас и в ближайшем будущем самого главного нет - уверенности, что борьба, борьба в самой жестокой форме кончилась. Наоборот, состояние неустойчивого равновесия может нарушиться в любой момент. Вытаскивать сейчас на свет божий права обывателя в том виде, в каком это делает Андрей Белый - великие принципы долой, да здравствует маленький человек, - значит сдавать позиции, впадать в недопустимую расхлябанность, возводить усталость,

утомление, большое в добродетель, значит открывать двери всему упадочному. Такие настроения у нас есть не только в среде, близкой А. Белому, но и в

#_270

толщах рабочих масс, в молодежи, даже в кругах коммунистической партии. Это - вредное, подлинно реакционное настроение, и его нужно побороть во что бы то ни стало. Оно ведет к угашению классовой ненависти к врагу, к падению общественных чувств, боевых качеств и т. д. Нужно, чтобы пролетариат и все, кто с ним, видели в буржуа своего заклятого и опаснейшего врага и в тех, с кем борются, не человека вообще, не обывателя, а представителя класса-противника.

Между тем в художественной литературе наших дней настроения А. Белого захватывают широкие круги "демоса", а не только выращиваются в литературных кружках избранников. В редакции поступает очень много рассказов, очерков, повестей, стихов. Большая часть их принадлежит новой интеллигенции, выпестованной революцией. Художественная ценность их по большей части незначительна - все это произведения начинающих. И сплошь и рядом в них чувствуется падение активных чувств к врагу, общественных настроений, какое-то толстовство и примиренчество, желание поставить свои радости и огорчения в центре жизни.

С обывательщиной в литературе и в жизни придется вести серьезную борьбу, и время для этой борьбы приспело.

IV.

Все, что мы писали выше о современных литературных лейт-мотивах, касается главным образом наших "стариков", писателей, вышедших из среды прежней интеллигенции. Это они в первую голову проповедуют мистицизм, тянутся к "лягушечьей жизни" и т. д. Вести с ними идейную борьбу должна новая литературная молодежь, вышедшая по большей части из рядов рабоче-крестьянской интеллигенции. Такая литературная молодежь у нас есть. Пусть белые зарубежники тешат себя мыслью, что в советской России - тишина кладбища и что без Мережковского и Куприна русская литература пропадет ни за грош - чем бы дитя ни тешилось. За годы революции у нас появился целый ряд молодых писателей и поэтов, принявших революцию и октябрь. Некоторые из них уже в достаточной степени выявили себя, другие обещают это в ближайшем будущем. Оставляя в стороне писателей, сложившихся ранее, Демьяна Бедного, Маяковского, Б. Пастернака, Есенина, наложивших глубокий отпечаток на литературную жизнь последних лет, мы можем указать на Казина, Кириллова, Герасимова, Малашкина и т. д., как на поэтов, находящихся положительную оценку не только у сторонников пролеткульта. Поэты выступили раньше. Писатели-прозаики выступают только теперь. Последние месяцы характерны именно появлением художественной прозы. Б. Пильняк, Сев. Иванов, Ник. Никитин, А. Яковлев, Константин Федин, Мих.

Зощенко, С. А. Семенов, А. Аросев, Н. Ляшко, Мих. Волков, Ив. Касаткин, ряд других писателей-прозаиков начали печататься, и их имена все чаще и чаще встречаются в сборниках, журналах и отдельных изданиях. При всем различии в характере их творчества, есть у них у всех много общего: они вышли из революции, пережили ее, стремятся каждый по своему ее отобразить, их тянет к быту, к современности, к недавним дням. Их реализм причудливо порой переплетается с Гофманом, - это потому, что в нашем быту так много страшного, фантастического, невероятного, не укладывающегося в нормальные рамки. У большинства стиль и язык, резко отличимые от языка, от манеры писателей дореволюционной

#_271

эпохи. Стихи белые, более похожие на прозу, в них нет обычного ритма, к которым привык старый читатель, в прозе - напряженность, нарочитая недоговоренность, часто намек; чрезмерная сгущенность и насыщенность образов, нервность, недоконченность, несвязность частей, глав, иногда страниц и строк, часто упрощенность, примитив народной сказки, стилизация, разорванность, подчас символика, хаотичность. Такой же язык. Читаешь и спотыкаешься. Это - не ровная спокойная река катит медленно воды свои, а играет бурный, мятежный поток, разбивается о камни-пороги. В нем много мутного, сорного, но он по-весеннему свеж. Нравится или не нравится эта манера, стиль, язык, привык или не привык читатель, воспитавший себя на "стариках", - тут дух времени. Россия сейчас как после землетрясения. Наблюдатель подходит к месту, где только-что бушевала огненная стихия. Лава еще не застыла, всюду бесформенные груды камней, пепла, хаос. Это - первое, что схватывает глаз. Трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, хочется охватить все сразу, а оно неустоявшееся, беспорядочное. И нервы, и сердце, и мозг потрясены катастрофой. Спокойное и ровное отношение тех, кто жил раньше в тихих усадьбах, творил в тиши кабинета, - тут физически не возможно. Потом, может быть, это уступит место более объективному, уравновешенному художественному созерцанию, когда жизнь "отстоится", но это дело будущего, заглядывать в него бесполезно пока.

Почти все "молодые" подражают кому-нибудь. В рассказах Пильняка нередко чувствуется А. Белый, у Лидина - Бунин, у Всеволода Иванова - М. Горький, у Ник. Никитина - Замятин и Ремизов, у Зощенко - Замятин и Лесков и т. д. Это понятно, так было - так будет, и не опасно, так как у большинства своя достаточно выявленная индивидуальность. Да и влияние часто внешнее, формальное.

В мистике новое литературное поколение неповинно. Огромное большинство "молодых" пришло из низов, прошло школу войны, побывало в Красной армии и на фронтах гражданской войны, выварилось в котле советской действительности и слишком приковано к настоящему, к быту. "Заумные" настроения многих "стариков" им чужды. Тут - другая психология, иной духовный облик, другой

культурный тип.

В том, что сейчас напечатано и написано, довольно ярко отразились современные революционные противоречия между городом и деревней. Городу вообще сейчас не везет. О нем пишут неохотно, он не привлекает внимания. Он отошел куда-то на задний план, может быть потому, что в городах разруха, распыление рабочего люда, что улицы порастают травой и по ним бродят свиньи, коровы и пробирается сторонкой угрюмый обыватель с кульком. В деревне покрепче, она стоит более прочно, - так, по крайней мере, кажется.

У Бориса Пильняка целая своеобразная художественная социология: он за октябрь потому, что последний освободил подлинную мужицкую Русь от цепких когтей Европы и городов. Революция противопоставила Россию Европе и, как только она произошла, Россия своим бытом, нравами ушла в семнадцатый век. Петр, самодержавие, города, интеллигенция, - все это наносное, с Запада, насильственно привитое Руси мужицкой. Православие тоже. Истинный лик Руси - в лесах, в мужицких бунтах, в сказках, в песнях. Бунтовали на Дону, на Яике, теперь дошли до Москвы, взяли свою власть и будут строить свое государство. Православие погибнет, а будет "либо Лев Толстой, а то гляди и Дарвин". А города! - Пусть на худой

#_272

конец послужат они мужику. Города... "Советская власть - городам значит крышка, говорит в "Голом годе" председатель совета. - Чугунка, се-таки, - хучь бы ей издохнуть". А ему вторит дед Кононов: "Господам, к примеру, нужно ездить по начальству, либо в гости. А мы сами, к примеру, без буржуев, значит". И тот и другой за советы и за большевиков, но против коммунистов. Разумеется, Пильняк не против чугулки, без нее он прожить не думает, но полагает, что революция отдаст ее в конце концов в безраздельное пользование мужику, и он восстановит свой исконный быт, без Петра, самодержавия, без власти города, без поповщины и православия. В сущности, Пильняк - идеолог мужицкого анархо-большевизма. Он отразил мужицкую стихию 1918 года в своих произведениях, к сожалению, очень мало еще известных читателю, отразил наиболее полно и красочно. И тот, кто говорит, - а такие голоса есть, - что у него нет ничего своего, что рассказы его деланные и бездушные - пишут и говорят с кондачка. Свое нутро у Пильняка есть: оно анархо-большевистское, не коммунистическое, а мужичье, - и в этом отношении Пильняк для публициста и бытописателей нашей эпохи - сущий клад. Тут целая социология мужика, участника русской революции, победителя Деникина, Колчака и Антанты, но весьма косо посматривающего на город и "коммунию".

У Всеволода Иванова, наоборот, сквозит горьковская неприязнь к мужику и к его быту. Его партизаны - сомнительные и случайные революционеры. К городу они относятся сторожко. Их все время тянет к себе земля. И Селезнев и Вершинин - начальники

партизанских отрядов - тоскуют по земле. Вершинин говорит про крестьян: "им на любое правительство начхать, абы их не трогали". Они способны действовать только скопом: скопом они почти голыми руками берут колчаковский бронепоезд, устилая землю трупами; в одиночку они теряются, становятся беспомощными, их героизм улетучивается. Недаром бронепоезд пришлось останавливать китайцу Син-Бин-У, легшему на рельсы, русского мужика не хватило на отдельный героический акт. Еще более сомнителен их интернационализм. "Корявый мужиченко, партизан, - говорит Вершинину хитро: - Я тебя понимаю. Ты им вбей в голову, поверят и пойдут!.. Само главное в человека поверить... А интернасынал-то? Я ведь знаю - там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, - скажем, пашня... Хорошее слово"... Партизаны в другом рассказе Иванова "Дите", чтобы сохранить жизнь "хрестьянскому" ребенку, взятому в плен у белых, равнодушно, как котенка, отбирают у киргизки ее ребенка, бросают в реку и заставляют молодую киргизку выкармливать "своего".

В рассказах и очерках С. П. Подьячева - это уже из стариков - деревня выступает в роли бессовестной грабительницы всякой бедноты. У Есенина, наоборот, город, это - "черная гибель" и "железный враг" родимых полей. Он уверен, что деревня в итоге пропадет от города, но еще намерен посчитаться и "отпробовать вражеской крови" и "пропеть песнь отщепенца", звучащей в его устах более как крик отчаяния. За недостатком места, мы, к сожалению, должны ограничиться этими беглыми замечаниями по злободневному вопросу о городе и деревне, отложив это до другого раза. Во всяком случае, вопрос этот сильно волнует и приковывает к себе внимание современной художественной прозы.

Если у Пильняка отразилась деревня 1918 года, а в рассказах и повестях Всеволода Иванова - партизанская борьба сибирских крестьян 1918-го и 1919-го годов, то в вещах других молодых беллетристов заметно

#_273

стремление приобщиться к быту города и захватить более поздний период. И в этих вещах чаще всего находит свое выражение не героическая сторона русской революции с ее титанической борьбой против всего эксплуататорского мира, а мрачные, тяжелые условия быта - с голодом, холодом, рвачеством, цинизмом, анархией, бюрократизмом и т. д. С. А. Семенов пишет роман-дневник "Голод", где девочка-подросток повествует, как с голоду умирает в Петербурге ее семья. В другой его повести "На дорогах войны" пред читателем проходит ряд картин гражданской войны на Украине, поражающих своей холодной, беспримерной общей жестокостью. Других, как, например, Ник. Никитина и Мих. Зощенко, тянет к художественной сатире. Есть тяга к изображению безобразий, чинимых продотрядами, комиссарами, советскими бюрократами и т. д. Литература последнего сорта - да будет позволено ее назвать

обличительной и критической - еще не выявилась в достаточной мере. Но это - вопрос времени. Значительным препятствием являются старые навыки и традиции в среде представителей Советской власти, - навыки, приобретающие в настоящий момент прочность предрассудка. Бояться сатиры на темные стороны советского быта вредно прежде всего для Советской власти и для всех трудящихся. Нужно перестать толковать о мрачных настроениях, о "тяжелых темах", когда темные стороны нашего быта настоятельно требуют художественного освещения. Непонятно, почему мы привыкли к газетным статьям на эту тему, и нас бросает в дрожь, как только мы те же самые мысли видим в форме художественного слова. И пора перестать искать упадочное там, где только правда, хотя бы и тяжелая, где законная тревога и боль подлинного революционера. Нужно помнить, что сейчас очень трудно быть настроенным на мажорные тона, когда миллионы людей пухнут и умирают с голода и мы доведены "культурными народами" до людоедства, а в городах изо всех щелей ползет мещанство, и господа Нэпманы заполняют кафе и рестораны и где-то собираются новые тучи военной непогоды.

Последняя тема о приходе нового "чумазого" очень волнует многих писателей.

Не затем высока
Дума-правда у нас,
В соболях-рысаках
Чтоб скакали глумясь.
Не затем у врага
Кровь лилась по дешевке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговки... (В. Хлебников).

Это настроение - очень глубокое и в рабочих массах, и в среде новой молодежи, и в среде коммунистов. И в нем больше здорового чутья, больше действенного, чем в штампованном оптимизме, ибо далеко не всегда такой оптимизм - показатель революционной воли и твердокаменности. В наше время за ним частенько скрывается чиновничья боязнь и нежелание беспокоить себя мрачными сторонами советского быта.

Для примера укажем на NN 8 и 9-ый "Кузницы". Они поражают своим пессимизмом на первый взгляд и унылостью. "Лучше повеситься в ряд фонарем, склизкую муть рвать, чем одному в поле вертеть пустоту" (Полетаев). "О, проклятый, позорный жребий! Так и хочется головой о гранит" (Александровский). "Опять про<росло> пошлое клеймо, выжженное прошлым на лбах. А рабочих поэтов распяли на фонарных

#_274

столбах" (Герасимов). Таких и подобных выдержек можно привести еще очень много из "Кузницы". И с первого взгляда может показаться, что мы имеем дело с "заумной" тоской и прочими интеллигентски-упадочными чувствованьями. Возможно, что кое-что

тут есть от усталости, голодухи, но суть не в этом. Герасимова донимает "врагов жеребиное ржание", "искрящиеся шелки совбурских дам", "кожаные галифе", и ему хочется крикнуть: "забинтуйте карминные губы, - они, как язвы, пошло сочатся прошлым!". Точно так же Александровскому "хочется головой о гранит", потому что "есть жизнь такая паршивая, такая обиденная и нелепая", которую хочется уничтожить "декретом Совнаркома". Она "глядит из глаз слепых и полупьяных, она ползет в правление, в местком, вцепившись в подол барыньки румяной" и т. д. Тот же Александровский уверен, что "мы добредем, куда надо", а другой товарищ по журналу Родов говорит: "Ничего! Устал, но молод, не прошу помочь". Пессимизм пролетарских поэтов, это - болезнь роста, чуткое отношение к действительности, переход к углубленному ее восприятию от внешнего машинизма. Иные времена - иные песни. Перелом и надлом пролетарских писателей - процесс совершенно неизбежный, и приведет он к большему художественному их обогащению, к новому расцвету и размаху их сил.

На примере пролетарских писателей можно явственно проследить, насколько осторожно следует относиться к дешевым упрекам в упадочности, раздаваемым направо и налево без разбора и без должного внимания. Но на что следует, в свою очередь, обратить внимание молодому литературному поколению и вообще писателю в условиях новой современности, это - на самоопределение. Прав был Петр Орешин, когда на одном из литературных собеседований заявил, что пора писателю точно и недвусмысленно сказать, с кем он, за что думает бороться в ближайшее время. Нам предстоит ожесточенная идейная борьба, если только новый натиск Антанты не положит конец "передышке". И в этом бою нельзя будет долго скрывать своего лица, сидеть на двух стульях, отмахиваться теориейками относительно стихийного творчества, чистого искусства. Конечно, преднамеренность нарочитая, тенденциозность вредны искусству и ничего не дадут, кроме плохих агит-рассказов и агит-пьес, но плавание без руля и ветрил, беззаботность в области общего мирозерцания, сознательный аполитизм с возведением его в божка и принцип, это - смерть для писателя в наши дни, какими бы данными он ни располагал.

Самоопределиться писателю нужно теперь, как никогда, и конечно, такое основное широкое расслоение произойдет. Молодому писателю сейчас угрожают две опасности: "заумности" стариков и опасность сделаться идеологами нового чумазого. Вторая опасность несравненно серьезней первой. Новый мещанин не только на Сухаревке, он часто сидит в коммунисте в правлениях и коллегиях, в литературных студиях и по редакциям. Он спрашивает и требует своей литературы. И очень легко сатира может скатиться до щекотания его нервов, дойти до аверченковщины, бесцельного зубоскальства. Рассказы могут превратиться в рассказы для бульвара, а в повестях будет "разделяться" Советская власть на потеху тому же чумазому. Такая опасность намечается уже теперь и это не трудно бы показать на примерах, если бы позволило место. Противоядие тут одно: нужно иметь "изюминку", "бога живого

человека", хорошее и твердое нутро и знать, с кем идешь и во имя чего. Без минимума моральных и социально-политических устоев писатель неизбежно очутится в стане

#_275

заклятых врагов труда. А этого минимума частенько не находишь. У старого писателя, у классика такой минимум в широком смысле этого слова всегда был, потому так человечно и прекрасно было русское художественное слово. "По нынешним временам" отсутствие этого нутра сплошь и рядом вуалируется разными ухищрениями и словесными вывертами, и возведением формы в самодовлеющий принцип. Очень удобно. Поди и разберись. Нужды нет, что разбираться в сущности не в чем, зато как "умно" выглядит. То же самое относится и к "деланности" художественных вещей. Все чаще и чаще встречаешь выражение: рассказ прекрасно сделан. Именно сделан. Делать рассказ, разумеется, нужно, но пусть этого не замечает читатель, - в противном случае получается нарочитость. Думается, что "деланность" находится в тесной связи с нехваткой "нутра" и "бога живого человека". Наличие такого нутра избавляет обычно писателя от метания от одной формы к другой, от преднамеренной "деланности" и чрезмерных забот об этом.

Что касается существа этого нутра, то в одном оно ясно: задача писателя сейчас заключается в борьбе с новым мещанством, которое заражает советский воздух, - с мещанством где бы оно ни было. Борьба во имя старых, славных заветов, во имя испытанных лозунгов революции. Это - основное, остальное приложится. Это достаточно широкая "платформа" для писательской деятельности. Мистицизм и стихийный уклон жизни к новому чумазому во всех ее областях - вот главные враги молодой литературы. Провозглашение и возведение обывательщины в принцип, как это сделал Андрей Белый, опасно не только тем, что ведет по пути отказа от "великих принципов", но приводит как раз к этому чумазому, принижает активность, сосредоточивая ум, сердце и душу на узеньком, личном, анти-общественном, бескрылом. Это как раз то, что нужно гражданину Нэпману. Ему нужно сорвать флаги с великими лозунгами, и тогда он уже беспрепятственно займется магазинами, кафе, биржей, личным уютом, и песнь торжествующей свиньи сменит боевые звуки Интернационала. Вот его идеал. Его вожделенное будущее. Другой идеал - подчинить г. Нэпмана интересам труда, указать ему место, не дать влезть свинье на стол всеми четырьмя ногами, не дать ему испошлить жизнь, сделать совсем мутным поток революции. То, что идейно г. Нэпман пребывает в состоянии пока как бы аморфном - ничего не значит. В гуще жизни он уже орудует и накладывает на все свой отпечаток. "Молодая" литература и молодой литератор-художник должен хорошенько прощупать этого гражданина. Не нужно понимать эту задачу в узком и буквальном смысле: изображайте, мол, гражданина Нэпмана, бичуйте его "пороки". Мы говорим об окраске, об основном настроении, о фоне, о художественной призме писателя.

В следующем очерке некоторые положения, намеченные в данной статье, мы постараемся конкретизировать путем характеристики отдельных художников-прозаиков.